ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

2002

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вернувшись на хутор, на третий день автор пошел попроведывать соседку бабу Катю, заодно хуторскими новостями разжиться.

- Борис Екимов
  - ○

Борис Екимов
КУДОВАЯ

На третий день хуторского житья, когда на подворье все новости собраны да рассказаны, наступает пора иная.

— Ты нынче чем займешься? — спрашивает поутру мой хозяин.

— Пойду попроведаю…

— Ну давай…

Отзавтракали. И пошел я по хутору бродить. Он нынче просторный, хотя и не больно людный. Но как в далекие годы протянулся и раскрылатился от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, так и теперь доживает свой век в былых размерах, как и прежде делясь на куты: Забарак, Никишкин кут и Варшава. Последнее название почти позабыто.

Умирают, уходят с хутора люди, ветшают и рушатся дома, базы, разрежая былую тесноту дворов.

Соседства давно уже нет, когда через плетеный забор окликнешь живую душу. Нынче дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.

Словно плавучие острова, все дальше расходятся живые дома, подворья, особенно в непогоду, во тьме, скупо светя желтыми окошками.

Но нынче — пора летняя и погожая. Еще издали, чуть ли не от своего двора, вижу, что у бабы Кати, на летней кухне, на крыше ее — человек.

Ближе подхожу, а это, оказывается, — сама хозяйка печную трубу глиной обмазывает. Дело летнее, но впереди — зима.

— Ты как туда залезла? — спрашиваю удивленно.

— По лестнице… — поняв мое удивление и обидевшись, коротко отвечает баба Катя. — Чего ж я, вовсе некудóвая? Трухля?

— Кудóвая… — усмехаюсь я. — Как коза по лестнице скачешь, в восемьдесят лет.

— Восемьдесят и еще два годочка, — спускаясь на землю, к гостю, уточняет старая женщина.

Сухощавая, росточку малого, возрастом гнутая, баба Катя имеет характер бойкий, любит поговорить. Газетка — ее старинное хуторское прозвище. Живет она одиноко. Сын Василий с давних пор — в городе, дочка — в станице. Живет одна, но дом и двор как и в прежние годы.

— Огород ныне огорчает, — жалуется она, когда идем мы осматривать ее владенье. — Картошка прет, прямо бушует, в огудину, а будет ли прок.

Огород старой женщины раскинулся так просторно, пышно и зелено, что оторопь берет. У хозяйки воробьиная стать: косточки, кожа, иссохшие плети рук… В чем душа держится. Но огород — не окинешь взглядом. Зеленой стеной картошка, огурцы, помидоры, плетучие тыквы… И ведь не трактор пахал… А все — лопата, мотыга и эти старушечьи, словно птичьи, иссохшие руки.

— Ну и огород у тебя… — в который раз удивляюсь. — Надо бы уже поменьше. Все же — возраст…

— Года, года… — соглашается баба Катя. — Из могуты выбилась. Здоровья нет.

— Ну и сажай поменьше, куда тебе?

— Я тоже гутарю… — соглашается она. — Который год сынка прошу: отрежь, Христа ради, огород наполовину, перенеси городьбу так-то вот: от кухни вкопай соху и перестановь городьбу. Тогда будет мне по силам: десяток рядков картошки да грядочки, для себя. И будет расхорошо. А ныне такая страсть…

— Все верно, — подтверждаю я. — Тебе много ли надо?

— Который год прошу: перестановь, сынок, городьбу. А ему все некогда.

— Господь с ней, с городьбой, — говорю я. — Брось и не сажай.

Из-под белого платочка снизу вверх глядят на меня удивленные глаза:

— В своей городьбе… кинуть? Не сажать? Бурьяном зарастет… Люди будут глядеть. Вот и сынок мой упыристый тоже: кидай да кидай… Так не положено, — говорит она строго. — Городьба стоит, значит, моя земля, мой ответ. Я ведь какой год криком кричу: перестановь городьбу, чуток буду сажать, для себя. А ему — некогда. Я бы по силам сажала, для себя.

— Правильно, — одобряю я. — Дети себе посадят ли, купят.

— Вот-вот, и сынок галдит: нам не надо, не надо, мы купим, — вздыхает. — Купим-залупим… В городе за все — копеечка. Мамкина картошка — не лишняя. А помидоров, огурцов сколь увозят… Машина трещит, кузова не хватает. Тыквы у меня всегда расхорошие…

Тыквы и в самом деле у бабы Кати огромные, в колесо, розовые, сахарные на вкус. Зимой в гости придешь, на стол — угощенье: в духовке запеченная тыква, оранжевые кусочки с подтеками темной патоки, пахучие, сладкие. Гостям угощенье, хозяйке — еда. Пенсия у бабы Кати — копеечная, хотя всю жизнь в колхозе работала. И потому еда, как говорится, гусиная:

постные щи, картошка, свекла. Пенсия малая. Но ухитряется своим помогать. Хвалится порой: «Внучке передала двести рублей, она — девка, ей чапуриться надо, а внуку — сто рублей… Василий приезжал — ему тоже надо, хоть и взрослый, но сын»…

Сын — взрослый, тоже к пенсии подбирается. Чуть не всякий день из конторы звонит приятелю моему: «Как там мать?» На хутор приезжает, любит рыбачить. А зимой — охотится. Прибывают целым кагалом: друзья да приятели. Баба Катя заранее топит старинную мазанку — кухню. Там охотнички гулеванят.

Летом в этой кухне любят жить городские внуки: днем — прохлада, да и с гулянки можно прийти, когда вздумается, не тревожа бабку.

Мне нравится эта кухня, старинное жилье: глинобитные стены, мазаный пол, русская печь, запах сухой мяты, полынных да сибирьковых веников.

Мне нравится хозяйка, старый воробушек в белом платочке с быстрыми живыми глазами. Мне нравится ее гнездо: флигелек в две комнаты: кухня да горница, все аккуратно помазано и побелено, от завалинки до трубы. Просторный огород, петуньи, пахучий табак да высокие алые мальвы возле забора, скамеечка у ворот. Но сидеть на ней время не позволяет. Разве что ради гостя…

— Какие новости? — спрашиваю.

— Откель мне знать, — скромно опускает глаза хозяйка. — Зимой хоть радио гутарит. А ныне — лишь огород, хата да кухня, курята да поросенок с утра до ночи… Раздираюсь, как бык на склизу.

Но помаленьку кое-что узнаю.

Бобылка Раиса, что прибилась к хутору лет пять назад, оказалась мужней, приезжали за ней на машине, зовут в семью, и мужик обещает не пить, потому что постарел, вот теперь и думай. Премудрые Рахманы — они же привыкли чужими джуреками своих родителей поминать — доумились Рахманы: сыпят к своему порогу семечки, приманывают чужих кур, приманят — и шлычку набок, в лапшу. Надюрка Рахманова проводила своего Митрия в больницу, в райцентр, с серьезной болезнью, да его и было видать: сделался вощаной, долго будут лечить, запихнула в больницу и считай тем же ходом привезла ему на замену какого-то с усиками, может, на время, а может, насовсем. А ведь Митрий тоже не с возу упал, они в загсе, на жизнь записанные… Кошенковы наладились самогонку гнать, для жизни подмога, люди хвалят ихнюю самогонку из сахара, не то что Вахина отрава. А Вахины же — переселенцы из Грозного, к жизни нашей никак не

привыкнут: лежат-лежат, потом сядут, сидят-сидят, потом лягут; осенью люди давали им картошку, капусту, свеклу — несли ото всех дворов, кто мог, весной семена да рассаду навязывали, а у них одно — посохло, другое — не взошло, третье — Вахины козы погрызли, потому что зимой забор в печке пожгли, а новый не поставили… А у Коли Бахчевника…

Помаленьку хуторская жизнь для меня проясняется. Но нынче пора летняя, долго не рассидишь.

— Надо лезть, мазикать… — спохватывается баба Катя. — А то глина заклекнет.

И вот она уже наверху, возле трубы, хоть и невысокая кухонька, но как-то боязно глядеть на старую женщину. «Восемьдесят лет да еще два года…»

На прощанье решил пошутить, кричу, посмеиваясь:

— На флигеле труба тоже рук просит!

— На той неделе полезу! — отвечает старая женщина. — Там еще на подловке делов…

Поднимаю глаза на шеломистую флигеля крышу, опасаюсь и предостерегаю:

— Там высоко… Василий приедет. Или Мария…

— Дождешься их, — отвечает баба Катя и подсмеивается: — Чего я, вовсе, что ль, некудовая?

— Кудовая! — машу я рукой на прощанье. — Еще какая кудовая.